

Наталия Родигина, Татьяна Сабурова

“О себе я стараюсь говорить поменьше, но все-таки говорю”: самоидентификация и память в русском женском автобиографическом письме конца XIX – первой половины XX вв.

“I Try to Speak Less about Myself, but in the End I Do”: Self Identification and Memory in Autobiographical Letters Written by Russian Women between the End of the XIX and the First Half of the XX Centuries.

The present article focuses on the strategies related to self-identification and the creation of the ‘Self’ in the autobiographical memoirs of Elizaveta Vodovozova and Ariadna Tyrkova-Williams, two representatives of the generations of the ‘Sixties’ and the ‘Eighties’ in nineteenth century Russia. The authors reveal the different forms of autobiographical self-representations, the links between individuality and the social, political, cultural communities (real and imagined) in the Russian women’s autobiographies; the role and meanings of such notions as ‘family’, ‘generation’, ‘intelligentsia’, and ‘nation’ in the construction of identity. The authors discuss the hierarchy and specificity of identities, which were reflected in the memoirs. In particular, they focus on generational, professional, and gender identity, accepting the concept of multiple identities; the connection between ‘private’ and ‘public’ in the Russian women’s autobiographical texts, the methods of incorporating private life into history are also described in the text.

Статья посвящена способам самоидентификации, конструированию ‘Я’ в автобиографических мемуарах ярких представительниц двух поколений русского общества (‘шестидесятников’ и ‘восьмидесятников’) Елизаветы Водовозовой (1844–1923) и Ариадны Тырковой-Вильямс (1869–1962). Мы стремимся показать формы раскрытия индивидуального ‘Я’ и характерные способы самопрезентации через коллективное ‘мы’ (семья, сословие, поколения, идеологические сообщества), определить способы конструирования и виды иден-

тичностей, зафиксированные в женской автодокументалистике, выявить соотношение личного жизнеописания с историческими событиями, жизнью общества, степень и способы историзации частной жизни и приватизации истории.

Гендерные особенности автобиографического письма: проблемы и исследовательские подходы

Женское автобиографическое письмо сравнительно недавно ста-

ло предметом специального изучения. Только в 1970–1980-е годы появились исследования, признававшие существование традиции женского автобиографического письма и гендерные особенности жанра автобиографии. Существенный вклад в формирование теоретических оснований изучения женской автобиографии как особого явления внесла Мэри Мэсон. Ее утверждение о том, что само открытие женской идентичности выглядит признанием присутствия, наличия другого сознания, а раскрытие черт женской идентичности тесно связано с идентификацией ‘Другого’, отражало особенности нового исследовательского подхода (см. Mason 1988). Вслед за ‘открытием’ женского автобиографического письма, тесно связанного с феминистическим движением второй половины XX века, исследователями были актуализированы два *ключевых вопроса*.

Первый – какие эго-источники относятся к автобиографиям? Нам ближе подход, согласно которому в число автобиографических текстов включают дневники, переписку, воспоминания, автобиографическую художественную прозу, а также поэзию, фильмы и другие способы самопрезентации. *Второй* – существуют ли отличия между женским и мужским автобиографическим письмом? Если да, то в чем они проявляются и чем обусловлены? Так, Эстель Джели-

нек противопоставляла женские и мужские автобиографии по нескольким основаниям: особенностям содержания, стиля описания, темпоральности. С ее точки зрения, для мужских автобиографий характерна сосредоточенность на профессиональной сфере, собственных достижениях в контексте исторической эпохи и общества. В женских же автобиографиях раскрывается частная жизнь в кругу семьи, дома, основное внимание акцентируется на отношениях с другими людьми. Джелинек неоднократно подчеркивала, что автобиографии мужчин отличаются линейностью, упорядоченностью в изложении событий, в отличие от женских автобиографий, характеризующихся фрагментарностью, непоследовательностью, ‘прерывистостью’, (‘разорванностью’ во времени). По мнению исследовательницы, такая темпоральность женского письма ярко отражала особенности повседневной жизни самих женщин, “их жизнеописания являются аналогом фрагментарного, разорванного, бесформенного характера их собственных жизней” (Jelinek 1980: 19). Особо отметим исследования Сидони Смит (Smith 1987), доказывающие, что ‘мужская’ литературная автобиографическая традиция была недоступна для большинства женщин вследствие их исторического отсутствия как в публичной сфере, общественной жизни, так и в литературе, что вы-

нуждало женщин писать истории своей жизни по-другому.

Традиции женского автобиографического письма в русской литературе также стали предметом специального исследования, отражая стремление вернуть ранее 'незамеченных' авторов в историю русской и советской литературы, предложить иную периодизацию и классификацию женского письма, показать способы саморепрезентации в женской литературе, как художественной, так и автобиографической, взаимосвязь автобиографической литературы и исторической ситуации (Zigin 2002). Например, Мэри Зирин, обсуждая рост автобиографического письма в России середины XIX века, связывает этот феномен с расцветом 'толстых' исторических журналов и соответствующим увеличением числа автобиографических описаний в общественно-политических и литературных журналах. В то же время она отмечает противоречие, присущее женским автобиографиям этого периода, противоречие между стремлением открыть 'правду' о своей жизни, сделать ее достоянием публики и социальными установками, неодобряющими подобную откровенность, что ставит под сомнение 'правдивость' женского автобиографического письма, созданного под определенным социальным и политическим давлением (Zigin 2002: 102).

Таким образом, сложилась исследовательская традиция противопоставления мужского и женского автобиографического письма, акцентировавшая стилистическую прерывистость, темпоральную фрагментарность и содержательную сфокусированность на персональном, частном как устойчивые характеристики женских автобиографий, несмотря на признание существования целого ряда исключений.

Расширению горизонтов понимания гендерной специфики автобиографических текстов может способствовать обращение к выводам психологов, занимающихся проблемами автобиографической памяти. В. Нуркова понимает под автобиографической памятью "субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, определяющих самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе психологического субъекта" (Нуркова 2000: 19). Исследовательница в числе гендерных особенностей женских авто-текстов отмечает, что женщины склонны давать себе более высокие оценки по шкале честности, нежели мужчины. Интересны ее выводы о причинах искажения автобиографической памяти, потенциально влияющие на гендер-

ные различия автобиографических текстов. В их числе: интервал самоидентичности личности; использование разных типов временных стратегий; влияние актуального состояния личности на воспроизведение содержания автобиографической памяти; ассоциативность/диссоциативность субъекта с образом памяти; эффект ожидания и др.

Проблема гендерных различий в жанре автобиографии продолжает оставаться одной из широко обсуждаемых в современной науке, также как и проблема соотношения частного и публичного в автобиографическом письме в целом (об этом свидетельствуют и материалы конференции International Auto/Biography Association (IABA) которая состоялась в Брайтоне в 2010 году). Не случайно возник вопрос о смысле слова 'частный', 'персональный' (private) применительно к автобиографии, так как сам факт написания автобиографии уже делает события частной жизни принадлежностью публичной сферы. По мнению Кристи Сигель, "центром автобиографии является переход частного в публичное, общественное. Автобиография трансформирует любое частное событие в публичный опыт" (Siegel 1999: 20).

С одной стороны, учет гендерных особенностей автобиографического письма, стремление выявить гендерную специфику автобиографий, несомненно, обо-

гащает исследования этого жанра и позволяет расширить наши интерпретации изучаемых текстов, объяснить писательские стратегии и авторские умолчания. С другой стороны, помимо ярко проявляющейся или скрытой в тексте гендерной идентичности, исследование автобиографической литературы позволяет выявить значимые способы идентификации и самоидентификации, отражающие изменения в социальной и культурной сфере.

Социальная самоидентификация в русском женском автобиографическом письме. Понятие 'поколение'

Элис Виртшафтер (Wirtschafter 1997), исследуя социальную структуру и социальные идентичности российского общества второй половины XIX – начала XX веков, пришла к выводу об отсутствии жестких социальных границ, их 'пористости' и размытости очертаний социальных групп. Несмотря на стремления государства закрепить социальную градацию, официальная сословная матрица мало соответствовала реальной социальной стратификации российского общества. Нам представляется справедливым замечание Джона Бушнелла, высказанное в рецензии на книгу Виртшафтер, о том, что исследовательница иг-

норирует способы идентификации и самоидентификации в российском обществе (Bushnell 1999: 1017–1018). С нашей точки зрения, анализ способов идентификации и самоидентификации, зафиксированных в автобиографическом письме, может способствовать лучшему пониманию проблемы социальной структуры российского общества, особенно в период модернизационных трансформаций.

Середина XIX столетия является рубежом в истории русской женской автобиографической литературы. Под влиянием модернизации социально-экономических, общественно-политических, цивилизационных институтов, перехода от патриархальной к нуклеарной семье, происходит смена традиционных гендерных ролей и стереотипов, активизируются эмансипационные процессы, изменяется статус женщины в обществе.

Среди устойчивых мотивов создания женских автобиографических текстов, характерных и для изучаемой эпохи, и для автобиографий в целом, независимо от гендерной специфики, можно назвать: стремление рассказать современникам и потомкам о себе, своих чувствах, предложить свою версию событий и явлений, которыми они “были свидетельницами”, зафиксировать для будущего характеристики повседневного быта, оставить в памяти потомков

черты своего поколения и наиболее ярких его представителей. Представляется значимым, что для женских автобиографических текстов, написанных в конце XIX – начале XX веков характерна установка на подлинность изложения своего жизненного пути, рефлексия по поводу источников, использованных для уточнения событий ‘по памяти’. Не случайно, среди адресатов, которым предназначались автобиографические тексты, называются профессиональные историки и те, кто интересуется прошлым. Елизавета Водовозова, к примеру, писала: “Моими ‘Воспоминаниями’ о помещицкой и крестьянской жизни, напечатанными в журналах, уже воспользовались некоторые исследователи истории крепостного права и царствования императора Николая... Если и другие мои очерки окажутся бесполезными для ознакомления с теми сторонами нашей прошлой жизни, которые я описываю, я буду вполне вознаграждена за свой труд” (Водовозова 1987а: 29).

Елизавета Водовозова – педагог, детская писательница, сотрудница педагогических журналов. Структура ее автобиографического текста представляется достаточно типичной для мужской мемуаристики второй половины XIX – начала XX в.: история семьи, с пристальным вниманием к историческим условиям ее существования; подробное описание

учебы в Смольном институте; характеристика профессионального становления и мировоззренческого сообщества, к которому она относилась; активная рефлексия по поводу настоящего и будущего страны. Как и в мужских мемуарах-автобиографиях изучаемой эпохи, сословная идентичность для Водовозовой занимает одно из значимых мест. Ее мемуары наглядно демонстрируют процесс конструирования новой идентичности – разночинской, связанной с формированием не только названной сословной группы, но и становлением новой социокультурной общности – русской интеллигенции. Будучи по происхождению из помещичьей среды, Водовозова большое внимание уделяет описанию безнравственности крепостного права и непросвещенности, самодурства, неспособности к прогрессу представителей помещичьей среды. Многочисленные истории из жизни ее деда, ее родителей были призваны проиллюстрировать порочность крепостничества как социального явления и ответственность русского дворянства за его существование. Показательна характеристика отца, которого в юности мемуаристка оценивала так: “... более всего мой скептический взгляд на отца поддерживался тем, что он владел крепостными: в освободительную эпоху мы, молодежь, с ужасом и отвращением смотрели на всех, так или ина-

че мирившихся с рабством и лишь по воле правительства порвавших с ним. Истинно идейный и гуманный человек, по нашему мнению, должен был освободить крестьян по собственной инициативе, а не по приказанию правительства” (Водовозова 1987а: 57). При этом заметим, что своего отца мемуаристка любила, признавала, что он был для своего времени человеком передовым, стремившимся дать детям хорошее образование и развить их способности.

На примере мемуаров Водовозовой можно говорить о несовпадении сословного статуса и сословной самоидентификации. Сословный статус, обусловленный фактом рождения, мог отвергаться в этот период по идейным соображениям. При этом новая сословная идентификация часто сопровождалась, если не разрывом с ‘отцовской’, то критическим отношением к ней. Конфликт ‘отцов и детей’ 1860-х годов Водовозова связывала с процессом поиска молодежью не только новой мировоззренческой, но и сословной идентичности. Этот разлад давал себя чувствовать во всех классах русского общества: сыновья дворян отказывались занимать весьма многие должности своих отцов, находя их недостаточно честными и благородными; сыновья чиновников находили зазорным для себя сидеть в канцеляриях и департаментах или копеть над какою-нибудь механиче-

скую работою, которая не может ни удовлетворять умственным запросам, ни приносить пользу ближним; даже сыновья очень многих купцов находили теперь, что нельзя заниматься торговлею, так как относительно этого рода деятельности не даром сложилось убеждение: ‘Не надуеть, не продашь’”, – замечала мемуаристка (Водовозова 1987б: 198).

Примечательно, что для Елизаветы Водовозовой разные виды социальных идентичностей: сословная (‘разночинцы’), поколенческая (‘молодежь шестидесятых годов’, ‘люди шестидесятых годов’, ‘новые люди’), мировоззренческая (‘нигилисты’, ‘народники’) идентичности чаще всего не дифференцировались и сливались в процессе самоидентификации. Таким образом, референтная ‘мы-группа’, с которой отождествляла себя Водовозова, конструировалась по разным основаниям, но описывалась, судя по частности упоминаний и обилию эмоционально-оценочных суждений, при помощи поколенческой терминологии.

Заметим, что именно в XIX веке понятие ‘поколение’ становится одним из ключевых идентификационных символов русских интеллектуалов и отражает изменение восприятия времени и социума. Мы рассматриваем формирование понятия поколения как проявление модернизации общества и культуры, а возрастание его зна-

чимости связываем с ускорением модернизационных процессов, которое неизбежно приводит к ситуации конфликта между старым и новым. В России поколенческий дискурс сформировался ко второй половине XIX столетия под влиянием философии позитивизма, идей Николая Чернышевского, и стал способом осмысления происходящих перемен и выражения социальной солидарности.

Называя начало эпохи либеральных реформ “весною нашей жизни, эпохою расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих устремлений к свету и к новой, неизведанной еще общественной деятельности” (Водовозова 1987б: 25), мемуаристка конструировала для современников и для потомков идеальный, канонический образ ‘шестидесятников’. Не только содержание, но и само их метафоричное название автобиографических мемуаров Водовозовой *На заре жизни*, адресация их яркому представителю поколения Василию Семевскому, свидетельствуют о не всегда осознаваемой автором героизации своего поколения. Именно стремление рассказать о нем, раскрыть его историческое значение было одним из основных мотивов мемуаротворчества Водовозовой: “Всесторонне представить великую эпоху нашего возрождения – задача грандиозная. Моя цель гораздо скромнее. В своих очерках я буду описывать только то, чему

сама была свидетельницей, указывая все то новое, что вносило в жизнь *молодое* поколение, но и не скрывая и его слабых сторон” (Водовозова 1987б: 26). Пользуясь терминологией Бенедикта Андерсона, ‘воображая’ свое поколенческое сообщество, мемуаристка акцентировала внимание на тех его социокультурных характеристиках, которые, с ее точки зрения, были наиболее значимы для последующих поколений. В их числе: пламенная вера во всеильное значение естественных наук, в великую силу просвещения, в могущественное значение обличения, в возможность улучшения материального положения народа, коренного преобразования всего общественного строя и водворения равенства, свободы, справедливости и счастья на земле (Водовозова 1987б: 206). Стремясь реализовать ‘установку на подлинность’ своего автобиографического повествования, Водовозова упоминала и о ‘недостатках’ своего поколения, но при этом всегда объясняла их историческими условиями его становления и всегда выступала в роли его адвоката. Для мемуаристки типично, к примеру, следующее утверждение: “Очень многие осуждали молодежь шестидесятых годов за то, что она выражалась искусственно, в приподнятом и высокопарном тоне, уснащала свою речь прописными истинами. И действительно, этим грешили очень многие. Но ведь

шестидесятые годы были необычайной эпохой. И все в ней было необыкновенно: кажется, даже температура крови людей того времени была повышена, вся их жизнь шла ускоренным темпом. Но эти недостатки не помешали весьма и весьма многим... проникнуться до глубины души идеалами и принципами этой эпохи. Весьма многие из шестидесятников так усердно работали над своим самообразованием в молодости, что, заняв впоследствии места в учреждениях по крестьянским делам, в гласном суде, в земстве, оказались чрезвычайно полезными деятелями” (Водовозова 1987б: 30–31).

Важно, что мемуары Водовозовой отдельным изданием вышли в 1911 году, когда в общественной мысли велась борьба вокруг идейного наследия 1860-х годов (в связи с 50-летним юбилеем отмены крепостного права), чем объясняется стремление Елизаветы защитить идеалы и достижения ‘эпохи обновления’ и превратить ее в место памяти русского образованного общества. С точки зрения изучения исторического сознания русских интеллектуалок, важно, что для Водовозовой, как и для многих ее современниц-мемуаристок (А. Панаевой, А. Достоевской и др.) 1860-е годы стали водоразделом русской истории. “В нашем прошлом резко обозначились две эпохи: первую представляет дореформенная Россия со всеми ужасами крепостного

права и крепостнических воззрений, которые своим ядом заражали и отравляли все стороны быта, все сферы деятельности, характер русского человека, его привычки и понятия даже в том случае, если он не имел никакого отношения к крепостным, так велико было тлетворное влияние права владения людьми. Второй период – Россия, пробужденная к жизни уничтожением крепостничества и другими реформами, а также распространением новых идей, когда началось общее обновление нашего общества и постепенное изменение его быта и миросозерцания” (Водовозова 1987б: 205–206). Таким образом, поколенческая самоидентификация Елизаветы Водовозовой сопровождается яркой позитивной оценочной позицией роли своего поколения в истории, свидетельствует о включении себя (через поколение как мировоззренческую общность) в поток исторических событий, осознания своей роли в истории.

Структура и иерархия социальных идентичностей, зафиксированная в мемуарах Ариадны Тырковой, представляется более сложной. В связи с ранее упомянутым размыванием сословий в русском социуме начала XX столетия и их последующим уничтожением, для Тырковой, писавшей свои мемуары в эмиграции в 1940-е годы, положительные характеристики дворянства во многом обусловлены революцией 1917 г.,

воплощая тоску по утраченному миру, дореволюционной России, миру дворянских усадеб. Дворянство показывается как воплощение русской культуры, символ традиций, стабильности, то есть того, что разрушила для Тырковой революция 1917 г.: “Хотя мы росли в очень определенной сословной среде, ее цельность и преемственность я поняла только много, много лет спустя, когда революция все разбила, порвала, разметала” (Тыркова-Вильямс 1998: 19 – 20).

Оказало свое влияние и формирование интеллигенции как особой социальной группы, имевшей первоначально дворянскую основу, а затем объединившей представителей различных сословий. Идентификационный конструкт ‘интеллигенция’ во второй половине XIX века приобрел важное значение для русского общества. Принимая во внимание все разнообразие подходов к определению сущности интеллигенции, отметим, что в мемуарах Тырковой присутствует широко распространенное понимание интеллигенции как мыслящей образованной части общества, имеющей внесословный характер, выражающей идею общественного блага. На представления Тырковой о сущности интеллигенции оказал большое влияние ‘интеллигентский’ дискурс 1860-х гг., закрепивший за частью русского общества право называть себя интеллигенцией и сформировавший устойчи-

вые представления об оппозиционности интеллигенции власти и ее стремлении преодолеть разрыв с народом. Тыркова: “Передовая интеллигенция, к которой мы все себя самоуверенно причисляли, считала своими только тех, кто отрицал самодержавие целиком, в прошлом, в настоящем, тем более, в будущем” (Тыркова-Вильямс 1998: 277).

В критике русской интеллигенции, характерной для мемуаров Тырковой, мы можем увидеть элементы ‘интеллигентского’ дискурса, нашедшего отражение в знаменитом сборнике *Вехи*. Как и авторы *Вех*, Тыркова упрекает русскую интеллигенцию за безрелигиозность, антигосударственность, учитывая опыт не только первой, но уже и второй русской революции. Однако содержащаяся в ее мемуарах критика интеллигенции ярко подтверждает устойчивость и значимость для автора идентификации с этой особой группой, интеллигенцией, само появление которой отразило как трансформацию социальной структуры российского общества, так и специфику взаимоотношений власти и общества в России второй половины XIX века.

Как и в мужской мемуаристике второй половины XIX – начала XX веков, и в автобиографических мемуарах Водовозовой, в автодокументальном тексте Ариадны Тырковой ярко выражена поколенческая идентичность. А.

В. Тыркова-Вильямс использует понятие ‘поколение’, прежде всего, в родовом, семейном смысле. Тыркова начинает свои воспоминания со слов “нас было семеро, четыре брата и три сестры, все очень разные по характеру, по судьбе, даже по возрасту. Между Виктором, моим старшим братом, и моей младшей сестрой, Соней, было семнадцать лет разницы. Соня была почти на пять лет моложе меня. Остальные шли лестницей, с промежутками в два года”. ‘Семейный’ смысл понятия поколения подтверждает и описание нянюшки, которая вырастила “не только нас, четверых младших детей, но и следующее поколение. [...] В общем, нянюшка у нас подняла пятнадцать ребятишек, десятки лет жила окруженная сменными тырковскими поколениями” (Тыркова-Вильямс 1998: 38).

В то же время воспоминания Тырковой, как и в мемуары Водовозовой, наполняют понятие ‘поколение’ социальным смыслом, акцентируя в нем историческое измерение. Сошлемся на мнение Карла Мангейма, “ровесники образуют одно и то же реальное поколение постольку, поскольку они захвачены социальными и интеллектуальными движениями, характеризующими их социум в данный период, и поскольку они имеют активный или пассивный опыт взаимодействия с теми силами, которые создали новую си-

туацию” (Мангейм 1998: 20). Если создавая образ своего поколения Водовозова основной акцент делала на противопоставлении идей ‘отцов и детей’, их поведенческих стратегий в частной и общественной жизни, характеристике таких институтов поколенческой солидарности как кружки, коммуны, курсы, то Тыркова делает одним из ключевых признаков поколенческой общности определенный круг чтения, увлечение одними писателями, выступавших в роли символов эпохи, и соответственно, поколения. Тыркова отмечает рукописные списки рекомендованных для чтения книг, в которые обязательно входили сочинения ‘главных учителей’ – Дарвина и Конта: “Их полагалось прочесть, чтобы стать, как в 1880-х годах еще говорили, критически мыслящей личностью, выработать в себе разумное мирозерцание. В первую очередь полагалось изучать естествознание и философию, конечно позитивную” (Тыркова-Вильямс 1998: 135). Но как признается сама Тыркова, над ней эти ‘тенденциозные’ списки не имели власти, она сама любила выискивать себе книги, то исторические, то по естествознанию, то просто романы. В этом проявилось, с одной стороны, стремление Тырковой заявить о себе как о индивидуальности, выбрав соответствующий способ репрезентации своего ‘Я’ (само написанные мемуары уже ярко говорит

об этом, поскольку женская мемуаристика долго получала признание в обществе), а с другой стороны, этот факт подтверждает значение индивидуального выбора в формировании поколенческой идентичности, возможности разных реакций на общекультурные и исторические импульсы. В качестве своих литературных кумиров Тыркова называет А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Толстого, но особое место в формировании поколенческой идентичности отводилось Н. Некрасову, которого называли главным воспитателем общественных чувств. “Через него мы [курсив– Н. Р., Т. С.] минуя всякие программы и подпольную пропаганду, сами того не зная, приобщались к народничеству. От него набиралась мятежного духа. *Нас* волновала его суровая красота, его призыв к подвигу. Он повелительно указывал путь, чего другие поэты не делали. Как только забрезжили в *нас* мысли, *мы* [курсив – Н. Р., Т. С.] отозвались на страстную горечь его поэзии, через нее воспринимали жизнь, определяли свое место в ней. Его стихи оказались созвучны с тем, что история накопила, сгустила в тогдашней русской интеллигенции” (Тыркова-Вильямс 1998: 136). В то же время Л. Толстой в изображении Тырковой не являлся духовным наставником молодежи 1880-х гг., хотя часто признавался духовным вождем эпохи ‘затишья перед бурей’. В мемуарах Тырко-

ва подчеркивает, что на русскую молодежь Толстой оказал меньше влияния, чем на иностранцев, представляя отношение к Толстому как элемент некоей поколенческой солидарности молодежи 1880-х годов, которое выражалось фразами: “нам он казался даже смешным”, “мы не увлеклись проповедью Толстого”, “ни для кого из нас Толстой не стал учителем жизни” (Тыркова-Вильямс 1998: 198).

Характерной чертой своего поколения Тыркова называет отсутствие религиозности, которую заменила вера в науку, в прогресс. Примечательно, что Водовозова приписывала эти характеристики ‘своему’ поколению, что дает основания считать их мировоззренческой традицией русской интеллигенции.

Представление о своем поколении неразрывно связано у Тырковой с историей освободительного движения. С ее точки зрения, каждое поколение отражает определенный этап борьбы за свободу в России, что подчеркивает значимость поколенческого дискурса для выражения политических идей, его функцию выражения социальной солидарности (в данном случае в борьбе с правительством за свободу в России). Поколение для Тырковой выступает как движущая сила в истории, что соотносится с распространенной во второй половине XIX века концепцией о роли поколений в истории. Она пишет о себе как

представителе своего поколения, сыгравшего важную роль в истории России, ставшим создателем первого русского парламента, но не сумевшего спасти Россию от катастрофы революции. Как и в случае с Елизаветой Водовозовой, поколение становится способом социальной идентификации, создавая как вертикальные, так и горизонтальные связи, включая индивидуальность автора в общий ход времени и истории.

Профессиональная и гендерная идентичность

С постепенной профессионализацией литературного труда связано формирование нового вида идентичности – идентичности профессиональной, отражающей процесс трансформации интеллигенции в профессионалов, профессионализацию как часть и особенность модернизационных процессов. Несмотря на то, что литературное творчество в России второй половины XIX века становится профессией, оно не рассматривалось исключительно в контексте профессиональной деятельности, а по-прежнему расценивалось как общественное служение, способ воздействия на власть и общество, а представители литературного мира причислялись к элите русского общества, назывались ‘общественной совес-

тью'. Однако во второй половине XIX – начале XX века занятия литературой все чаще воспринимаются как исключительно профессиональная деятельность, дающая средства для жизни. Мемуары Елизаветы Водовозовой содержат многочисленные упоминания о низкой оплате литературного труда женщин, сотрудничавших в различных периодических изданиях, о состоянии 'хронического безденежья' в ее семье, о трудностях совмещения женщинами профессиональной деятельности и воспитания детей, занятий домашним хозяйством. Упоминания о схожих проблемах мы встречаем и у Ариадны Тырковой: "[...] Мне пришлось зарабатывать на себя и на детей. Я была к этому не подготовлена, не представляла себе трудностей, которыми жизнь часто встречает новичков. У меня не было профессии. К счастью, я сразу схватилась за журналистику, сделала писательство своим ремеслом, которому и до сих пор служу" (Тыркова-Вильямс 1998: 213).

Заметим, что профессиональная идентичность у авторов исследуемых мемуаров тесно переплетена с гендерной. Их рефлексия по поводу собственной профессиональной деятельности, как правило, сопровождается размышлениями о предназначении женщины, ее роли в обществе и семье. Публичное и личное образуют сложную диалектическую связь в автобиографических воспоминаниях и Во-

довозовой, и Тырковой. Это связано с изменением традиционных женских ролей в результате модернизации, выходом из замкнутого круга семьи, популярностью идей женской эмансипации, поисками новых форм семейно-брачных отношений, особенно характерным для 1860-х годов, активным вовлечением женщин в профессиональную деятельность и политическую борьбу. Водовозова так обозначила суть этих перемен: "[...] женщина должна была разорвать все путы, тормозящие ее жизнь, сделаться вполне самостоятельной в делах сердца и, не ограничиваясь этим, сбросить моральный гнет предрассудков, зажить общественной жизнью. Она должна трудиться так же, как и мужчина, как и он, иметь свой собственный заработок и быть полезной обществу, одним словом, обязана отвоевать себе такое самостоятельное положение, 'чтобы она никогда не пожалела о том, что она женщина'" (Водовозова 1987б: 173–174). Одну из ключевых ролей в изменении статуса женщины в русском обществе мемуаристка отводит роману Н. Чернышевского *Что делать?*, отмечая его влияние на стремление женщин к самостоятельному заработку, к высшему образованию, на борьбу за уравнивание своих прав с мужчинами. С ее точки зрения, произведение Чернышевского – это наиболее важный исторический памятник, в котором "ярко отра-

зились идеи и стремления эпохи шестидесятых годов, этой кратковременной весны нашей общественной юности” (Водовозова 1987б: 169). Пламенная надежда на счастье; вера в то, что его можно достигнуть своим трудом; право свободы любви в семейных отношениях; стремление к деликатно-чистым отношениям между супругами; бескорыстное служение народу; вера в могущественную силу знания; забота о ближнем – вот, что, по мнению Водовозовой, объясняло воздействие романа Чернышевского на интеллигентную молодежь. Водовозова сама разделяла идеи популярного писателя и для нее общественная, публичная сфера ее жизни явно доминировала над частной, приватной. Не только ее жизнь, но и вся деятельность ее мужей, детей, друзей и подруг была подчинена идее общественного служения, поэтому приватное, личное не противоречило, а гармонично сливалось для нее с публичными и потому не являлось предметом специального внимания.

Для Ариадны Тырковой так же характерно преобладание публичной жизни над частной, но при этом, в отличие от Водовозовой, она отмечает трудности гармоничного сочетания общественной и частной жизни, осознавая неизбежность преобладания одной из гендерных (социальных) ролей для женщины в эту эпоху. Мемуаристка с горечью замечает: “по

опыту своему знаю как трудно, особенно женщине, устанавливать равновесие между личным и общим” (Тыркова-Вильямс 1998: 221). Ролевой конфликт, вызванный невозможностью успешно совмещать роль матери и активную профессиональную и политическую биографию, во многом усугублялся стремлением Ариадны быть похожей на свою мать. Традиционная для женских мемуаров роль дочери ярко проявляется при описании детства, так как большое значение для становления личности Тырковой имела мать, воплощая семью, дом как символ защищенного, безопасного пространства, а кроме того, образ матери является основой для конструирования собственной идентичности автора мемуаров. Как доказывает исследование Кристи Сигель, в женских автобиографиях способы репрезентации себя как дочери, через отношение к матери, были обусловлены историческим, культурным, социоэкономическим контекстом, и именно ‘дочерний’ дискурс может стать главным в объяснении специфики женской автобиографии (Siegel 1999: 22).

Отметим принципиальные изменения, которые произошли в отношениях дочерей и матерей в русской дворянской семье во второй половине XIX в. Воспоминания Водовозовой о детстве касаются дореформенной эпохи, и образ ее матери, характеристика

их взаимоотношений, представляется достаточно типичными для традиционного общества. “Главное педагогическое правило, которым руководились как в семьях высших классов общества, так и в низших дворянских, состояло в том, что на все лучшее в доме – на удобную комнату, на более спокойное место в экипаже, на более вкусный кусок – могли претендовать лишь сильнейшие, то есть родители и старшие. Дети были такими же бесправными существами, как и крепостные. Отношение родителей к детям были определены довольно точно: они подходили к ручке родителей поутру, когда те здоровались с ними, благодарили за ужин и прощались с ними перед сном. Задача каждой гувернантки, прежде всего, заключалась в таком присмотре за детьми, чтобы те как можно менее докучали родителям”, – вспоминала мемуаристка (Водовозова 1987а: 98–99). Елизавета упоминает о том, что настоящая близость с матерью у нее установилась лишь в зрелом возрасте, когда мать прониклась прогрессивными идеями 1860-х годов и стала для Водовозовой соратницей. Таким образом, основным критерием семейной самоидентификации для мемуаристки выступает мировоззренческая близость. В детском же возрасте самым близким человеком для Елизаветы, ее братьев и сестер была няня, что весьма характерно для дворянской культуры. Имен-

но няне были посвящены самые теплые слова любви и благодарности, а ее смерть стала одним из самых страшных потрясений для маленькой Лизы. “Для нас, детей, она положительно была ангелом-хранителем и мы все обожали ее. Матушка была с нами скорее сурова, чем нежна, няня же обращалась с нами удивительно ласково, употребляя все усилия, чтобы предупредить вспышки матушкиного гнева” (Водовозова 1987а: 70).

Другую ситуацию демонстрируют мемуары Ариадны Тырковой. Под влиянием эпохи реформ, увлечением педагогическими идеями, в том числе Руссо и Локка, мать Тырковой сама занималась воспитанием и первоначальным образованием детей, поощряла их увлечения, много читала им и приобщала их к чтению, воспитание основывала на доверии, а не на наказании, и долго оставалась поддержкой в трудные периоды их жизни. Говоря о своей матери, Тыркова создает эмоционально насыщенный образ, подчеркивая близость отношений, выступающих основой идентичности: “ощущение ее близости, ее тепла, запах ее рук и платья, когда в минуты огорчений с разбега сунешься мокрым лицом в ее колени, ее взгляд, ее улыбка, через которые жизнь вливается в ребенка, все это в нас навсегда остается. Все это часть того, что мы называем Я. На этом от поколения к поколению строится непрерывность жизни, бес-

смертие рода” (Тыркова-Вильямс 1998: 28). В то же время характеристики матери основываются не только на ее индивидуальных чертах, но тесно связаны с поколенческой идентификацией (как представительницы шестидесятников), что подразумевало обращение читателя к устойчивому образу поколения 1860-х годов. Именно мать в мемуарах Тырковой выступает как ее алтер-эго, и не случайно, своему материнству Тыркова уделяет значительно меньше места в мемуарах, оставляя, прежде всего, дочь.

Тем не менее, в мемуарах Тыркова все-таки показывает себя в роли матери, что передается через описание сильного физического чувства связи с детьми (сыном и дочерью от первого брака), несмотря на невозможность уделять им столько же времени, сколько уделяла ей самой ее мать. “Мои дети, совсем мои. Я была спокойна, когда мы все трое были под одной крышей, когда они были тут, рядом, когда я слышала топот их ног, их голоса, шум их жизни... От детей, примостившихся как можно ближе ко мне, шло ласковое тепло. Они были частью меня самой, точно входили в меня” (Тыркова-Вильямс 1998: 220). Примечательно, что упоминания о матери и детях связаны с определенной ‘телесностью’ (ощущение близости, тепла), редко проявляющейся в тексте воспоминаний, оставаясь фактически табуированной

областью, что характерно для культуры автобиографического письма этого времени. Как показала Ольга Демидова, на примере воспоминаний Нины Берберовой, несмотря на их откровенность, рассказы о собственных страхах или личных отношениях, “целые этапы ее жизни, необычайно важные для становления личности, словно ‘проваливаются’ куда-то, образуя многочисленные лакуны в повествовании, при этом за рамками текста остаются собственно любовные переживания автора, ее интимный опыт” (Демидова 2000: 56).

Данное утверждение в полной мере можно отнести и к мемуарам Елизаветы Водовозовой, для которой гендерная идентичность достаточно явно проявляется только при описании детского и юношеского периодов в обсуждении ‘женских’ судеб своих родных и знакомых, особенностей воспитания в Смольном институте, описании своих переживаний по поводу внешности и одежды во время встреч в кружках ‘новых людей’. При этом важно, что для Водовозовой все, что связано с женским воспитанием и образованием являлось объектом критического осмысления, в чем проявлялись не только ее мировоззренческие установки ‘шестидесятницы’, но и позиция педагога. Она, к примеру, так оценивала учебу в Смольном институте: “Институтская жизнь доре-

форменного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство” (Водовозова 1987а: 409). Примечателен рассказ Елизаветы Водовозовой о том, что некоторые собрания учительского кружка, в деятельности которого она принимала участие в начале 1860-х годов, были посвящены воспоминаниям о детстве. Как правило, кто-нибудь из присутствовавших заявлял: “Я расскажу о своем детстве, то есть о том, как не надо воспитывать” (Водовозова 1987б: 88). Эмоциональные впечатления детства и юности являлись для мемуаристки ключевым аргументом в борьбе за более рациональную, более приспособленную к требованиям жизни систему женского образования, способную подготовить девушек, как к профессиональной деятельности, так и к семейной жизни. По мнению Водовозовой, более всего

соответствовала требованиям ‘новой эпохи’ педагогическая система К. Ушинского. “Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ”, – повторяла она в своих автобиографических мемуарах слова своего учителя (Водовозова 1987а: 451). На протяжении всей жизни Елизавета была не только последовательницей и страстной пропагандисткой его идей, она воплощала их в практике воспитания собственных детей.

Гендерная идентичность у Водовозовой тесно связана с мировоззренческой (в том числе политической). Многочисленные описания внешности и характера подруг по учительскому кружку, посетителей журфиксов в доме у Водовозовых, как правило, являлись фоном для иллюстрации их политических взглядов. Описывая такие веяния ‘новой эпохи’ как устройство швейных мастерских для нуждающихся женщин, коммун, вечеринок в пользу ‘падших женщин’, фиктивных браков с целью спасения женщин от ‘родительского гнета’ и получения высшего образования за рубежом, Елизавета акцентировала основное внимание на социальных аспектах гендерного движения 1860-х годов, меньше останавливаясь на его личностной состав-

ляющей. Исключением является ее очерк *К свету. Из жизни людей шестидесятых годов*, требующий специального изучения и не являющийся автобиографическим повествованием.

Более разнопланово представлена гендерная идентичность в мемуарах Тырковой. Судя по тексту, Ариадна осознавала себя девушкой красивой, вызывающей интерес и имеющей много поклонников. “У меня уже шла моя девичья жизнь. За мной ухаживали, мне писали стихи. Идя со мной по улице, Надя (Крупская) иногда слышала восторженные замечания незнакомой молодежи. Меня они не удивляли и не обижали. Мое дело было пройти мимо с таким независимым, непроницаемым видом, точно я ничего не слышу, или небрежно бросить: – вот дурак!” (Тыркова-Вильмс 1998: 113). Важно заметить, что представления о ‘девичьей жизни’ ясно отражают существование определенных гендерных ролей и норм. Портреты подруг позволяют увидеть дополнительные акценты в способе конструирования гендерной идентичности. Через эти портреты Тыркова показывает свое отношение к женской красоте, переживание влюбленностей, понимание ‘женского’ счастья. Заметим, что гимназические подруги оказываются вписанными в историю освободительного движения в России, характеризуя и политическую жизнь, так как Нина Гердт

стала женой известного либерального деятеля П. Б. Струве, Лида Давыдова – женой марксиста, экономиста М. И. Туган-Барановского, а Надя Крупская – женой будущего лидера партии большевиков В. И. Ульянова (Ленина). “Все три женской привлекательностью не отличались, но это не помешало им быть очень счастливыми женами. А, может быть, именно потому и были они счастливы, что на их женском пути не было соблазнов, не было места для прихотей и фантазий” (Тыркова-Вильмс 1998: 124).

Тыркова в мемуарах, отмечая собственную красоту и привлекательность (в отличие от подруг, подчеркивая их некрасивую, непривлекательную внешность, но в то же время, ум и доброту, умение посвятить свою жизнь жизни мужа, его интересам и стремлениям, отказаться от собственной реализации (профессиональной, общественной), не пишет о собственной семейной жизни фактически ничего. Это возможно было связано с первым неудачным браком (она вышла замуж в 21 год за инженера-кораблестроителя, с которым, по замечанию ее сына, у нее не было общих интересов, а это рассматривалось как необходимое условие для счастливой и крепкой семьи, и прожив в браке 7 лет, забрала двоих детей и ушла, начав независимую профессиональную деятельность в качестве журналиста). Второй брак с бри-

танским журналистом Гарольдом Вильямсом был по ее воспоминаниям, счастливым, но этот период жизни Тырковой в мемуарах заслонен описанием политических событий в России, войной, революцией. “[...] Лида в ту пору была по-женски несравненно счастливее меня. Она и Миша обожали друг друга, точно только вчера поженились. И в этом взаимном обожании прожили все десять лет своей жизни” (Тыркова-Вильямс 1998: 231). При этом каждый раз Тыркова подчеркивает, что, несмотря на известность, научный и политический авторитет своих мужей, их жены не уступали (а иногда и превосходили) в уме, приходили на помощь, были верными спутницами на трудном пути политической борьбы. Так, например, она пишет о Туган-Барановском: “Он был большой мастер, что называется ляпать, говорить то, чего говорить не следует. Лида, заливаясь своим заразительным смехом, спешила ему на помощь, замазывала его промахи”, (Тыркова-Вильямс 1998: 231). Показательно, что положительные характеристики женщин ограничиваются сферой семейной жизни, представления о жене, прежде всего, как спутнице и помощнице мужа, не имеющей собственной, самостоятельной профессиональной или социальной реализации, с одной стороны, соотносится с традиционными представлениями о гендерных ролях женщин,

с другой стороны, вписывается в мемуарную традицию описания жен в среде интеллигенции. Женщина остается, прежде всего, женой, матерью, хозяйкой дома, но при этом приобретает черты ‘хозяйки салона’, собеседницы, воспринимаемой как неотъемлемая часть мужской интеллектуальной среды, но занимая в ней строго отведенное место.

На формирование идеала женщины, представления о том, какая должна быть русская женщина огромное влияние оказали стихи Некрасова *Русские женщины* (что неоднократно упоминается в различных женских мемуарах о второй половине XIX века). Складывался образ женщины-героя, не уступающей мужчинам, но главным было представление об особой духовной силе, позволяющей преодолевать любые испытания (пример жен-декабристов, образы Екатерины Трубецкой и Марии Волконской), представление о женщине, которая способна дать духовные силы своему мужу, быть ему поддержкой и опорой в жизни.

Акцентирование женской идентичности в мемуарах Тырковой несомненно связано с женским движением в России начала XX века, в котором Тыркова принимала активное участие. Но для Тырковой борьба за женское равноправие была неотделима от борьбы за общегражданские права, политические свободы, независимо от пола.

Как пишет Тыркова о 1905 годе: “Я и сама над женским равноправием не задумывалась. [...] Слишком все были поглощены большими политическими проблемами и задачами. Я не подозревала, что близок час, когда мне придется говорить немало речей, читать лекции, писать статьи, отстаивать женские права: политические, экономические, просто человеческие. Но в тот момент во мне была такая уверенность в моей равноценности с мужчинами, что мне и в голову не приходило, что надо ее доказывать” (Тыркова-Вильямс 1998: 380). На съезде партии кадетов, при обсуждении ее программы, лидер партии Милюков высказался против женского избирательного права, объясняя это отсталостью русских крестьянок, их малограмотностью и неподготовленностью к политической жизни. Это побудило Тыркову выступить на съезде, и вместе с женой П. Н. Милюкова добиться включения требования избирательных прав для женщин в программу партии. “Я совершенно твердо, без всяких колебаний, чувствовала себя не лучше, но и не хуже мужчин. Они могли быть умнее, но могли быть и глупее меня, даровитее и менее даровиты, чем я, более или менее меня образованы. Но не в этом дело, а в том глубоком ощущении себя как человеческого существа, которое хочет участвовать в жизни, в ее строительстве, иметь право голоса, суждения и

осуществления этого суждения” (Тыркова-Вильямс 1998: 381). Свои представления о женщине, ее роли в обществе, Тыркова также подробно раскрыла в биографии Философовой, известной феминистки, и в своем литературном творчестве (например, рассказ *Афинянка*).

Заметим, что мировоззренческая (в том числе и политическая идентичность) занимает значительное место в привлеченных нами женских мемуарах. Ее либеральный характер связан с развитием освободительного движения в стране пореформенной эпохи. Вера в гуманизм, в торжество прогресса и демократические ценности – объединяют Водовозову и Тыркову.

Но политическая идентичность является новым элементом, связанным с формированием системы партий в России начала XX в. и включением женщин в активную политическую, в том числе и партийную деятельность. Примечательно, что вторая часть мемуаров Тырковой почти полностью посвящена деятельности партии кадетов, о себе автор упоминает редко, только как участник и очевидец событий общественной жизни. “О себе я стараюсь говорить поменьше, но все-таки говорю. И я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть Освободительным Движением” (Тыркова-Вильямс 1998: 212).

Национальная идентичность слабее выражена в тексте мемуаров как Е. Водовозовой, так и А. Тырковой, что можно объяснить проблематичностью национальной идентичности для русской интеллигенции, так как национальное в сознании, как правило, соединялось с консерватизмом, с властью, официальной идеологией. Ариадна писала по этому поводу: “В тонком слое образованных людей царил либеральный универсализм, расплывчатая, а религиозная общечеловечность” (Тыркова-Вильямс 1998: 105). Национальная идентичность актуализируется в условиях эмиграции, столкновения с ‘другим’, заставляет переосмыслить тему русскости и того, что значит быть русским. Например, Тыркова пишет о писателях А. И. Куприне и Д. Н. Мамине-Сибиряке: “Оба были очень русские, оба очень чувствовали Россию” (Тыркова-Вильямс 1998: 225).

Соглашаясь с И. Савкиной, что “принадлежность к роду, семье, включение себя наряду с отцом, братьями, дядями и т.п. в семейное Мы для женщины-мемуаристки в значительной степени определяли статус, служили способом социальной идентификации” (Савкина 2007: 228), отметим, что в привлеченных нами текстах возрастает значение новых иден-

тичностей (политической, профессиональной, поколенческой, гендерной) и включение с их помощью женщины-мемуаристки не столько в семейное ‘Мы’, сколько в ‘Мы’ социальное, общий ход исторического развития России. Такое расширение набора идентичностей, которое наблюдается не только в женской, но и мужской мемуаристике, стало результатом серьезных трансформаций русского общества, формирования элементов гражданского общества, появления новых социальных и профессиональных групп, изменений в политической жизни. Новым для женщины стало включение ее в профессиональные группы интеллигенции. Новым было и акцентирование гендерной идентичности, вызванное обсуждением ‘женского вопроса’ в России. Женщина-мемуаристка представляет свое индивидуальное ‘Я’, соотнося его с различными реальными и ‘воображаемыми’ сообществами, осознавая сложность совмещения традиционных гендерных ролей жены и матери, которые остаются значимыми, с новыми ролями писателя, политика, вызванными к жизни общим ходом реформ в России.

Библиография

Водовозова 1987а: Е. Н. Водовозова, *На заре жизни*, Художественная литература, Москва, 1987. Т. I.

Водовозова 1987б: Е. Н. Водовозова, *На заре жизни*, Художественная литература, Москва, 1987. Т. II.

Демидова 2000: О. Демидова, *К вопросу о типологии женской автобиографии*, in М. Liljeström, *Models of self: Russian women's autobiographical texts*, Aleksanteri Institute, Helsinki, 2000, С. 49-62.

Мангейм 1998: К. Мангейм, Проблема поколений, «Новое литературное обозрение», 1998, XXX, 2, С. 7-47.

Нуркова 2000: В. Нуркова, *Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти*, УРАО, Москва, 2000.

Савкина 2007: И. Савкина, *Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века*, Новое литературное обозрение, Москва, 2007.

Тыркова-Вильямс 1998: А. В. Тыркова-Вильямс, *Воспоминания. То, чего больше не будет*, Слово, Москва, 1998.

Bushnell 1999: J. Bushnell, *Elise Kimerling Wirtschafter, Social Identity in Imperial Russia*, «The Journal of Modern History», 1999, LXXVIII, 4, pp. 1016-1018.

Jelinek 1980: E. Jelinek, *Women's Autobiography: Essays in Criticism*, Indiana University Press, Bloomington, 1980.

Mason 1988: M. Mason, *The Equality Trap*, Simon and Schuster, New York, 1988.

Polkey 1999: P. Polkey (Ed.), *Women's Lives Into Print: The Theory, Practice and Writing of Feminist Auto/Biography*, MacMillan, New York, 1999.

Siegel 1999: K. Siegel, *Women's Autobiographies, Culture, Feminism*, Peter Lang Publishing, New York, 1999.

Smith 1987: S. Smith, *A Poetics of Women's Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation*, Indiana University Press, Bloomington, 1987.

Smith 1993: S. Smith, *Subjectivity, Identity, and the Body: Women's Autobiographical Practices in the Twentieth Century*, Indiana University Press, Bloomington, 1993.

Stanley 1992: L. Stanley, *The Auto/biographical I: The Theory and Practice of Feminist Auto/biography*, Manchester University Press, Manchester, 1992.

Wirtschafter 1997: E. K. Wirtschafter, *Social Identity in Imperial Russia*, Northern Illinois University Press, DeKalb, 1997.

Zirin 2002: M. Zirin, "A Particle of Our Soul": *Prerevolutionary Autobiography by Russian Women Writers*, in A.M. Barker, J. Gheith (Ed.), *A History of Women's Writing in Russia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 100-116.

